
СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ И ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ МИРЫ

“Поскольку каждое, даже само по себе частное событие своего времени являлось перед Тютчевым как определённое звено во всемирной истории, нет ничего парадоксального в том, что потрясённое видение Космоса сочеталось в его душе со страстным интересом к сегодняшней газете”, – писал Вадим Кожин в книге “Тютчев”.

Хорошо известно, что любой пишущий о любимом писателе вкладывает в написанное и свой жизненный опыт, и свои пристрастия, и увлечения и во многом смотрит в описываемый им художественный мир, как в зеркало. Трудно отделаться от мысли, что здесь Кожинов актуализирует в Тютчеве близкое себе самому.

Читая Кожинова, видишь, как важен для него диалог, полемика с предшественниками и современниками, в этом непрекращающемся обстоятельном разговоре цитаты и ссылки сменяют друг друга, и создаётся солидный массив мнений, тенденций, высказываний по самым разным проблемам, объединённым одной – актуализирующейся Кожиновым – темой. . . И размышляя над его анализом поэзии Юрия Кузнецова, невозможно не вспомнить кузнецовские строки, выдающие в нём в данном случае кожиновского антипода:

*По вольному ветру, по белому свету,
По нашему краю
Проносит газету, проносит газету,
А я не читаю.*

*Я душу спасаю от шума и глума,
Летающих по краю.
Я думаю думу; о чём моя дума,
И сам я не знаю.*

*Наверно, сживут меня с белого свету
И с нашего краю,
Где даже скотина читает газету,
А я не читаю.*

“Шум” и “глум”, от которого спасал свою душу Кузнецов, господствуют в кожиновских работах, и дума Кожинова, о чём бы он ни писал, неотделима от “внешнего” времени.

Статью, посвященную книге Юрия Кузнецова “Во мне и рядом даль”, которой Кожинов предпослал заголовок, как вопрос: “Начало нового этапа?”, он открывает размышлениями о временных периодах, как о веках, к которым привязано то или иное поэтическое направление.

“Основной “единицей измерения” литературного развития является, как известно, десятилетие. Любой курс истории русской литературы XIX – начала XX века более или менее чётко делится по этому принципу... Здесь, конечно, нет возможности выяснять сложные и многообразные причины, в силу которых именно в течение десяти лет... литература совершает определённый цикл, период, этап своего развития и переходит затем к новому, принципиально иному этапу... Существенное изменение и обновление литературы примерно через десятилетие – очевидный историко-литературный факт”.

Через несколько лет, отвечая на анкету альманаха “Поэзия”, в частности на вопрос, как развивалась поэзия за последнее десятилетие, Кузнецов с возмущением отреагировал на само это временное понятие, и, думается, его раздражение было связано не только с вопросом анкеты, но отчасти и с воспоминанием о начале кожиновской статьи:

“Десятилетие, десятилетия... Откуда взялась в литературе эта скверная привычка к десятичному, дробному, разорванному мышлению? Не от НТР ли и спорта, где учитываются сотые доли секунды? Но с таким сеточным зрением мы не увидим ничего крупного...” У Кузнецова было иное представление о времени, представление, которое охарактеризовал Кожинов уже в своей следующей статье о поэте, статье 1981 года, не размышляя о “десятилетиях”.

«... Широкое поле” Истории в мире поэта не “заявлено”, но осуществлено, создано. И между прочим, глубокая основа этого созидания лежит не в так называемом мастерстве (хотя, конечно, и оно необходимо). Поэзия Юрия Кузнецова могла осуществиться только лишь при условии, что История сокровенно и всем существом пережита в творческом сознании поэта как его собственная личная предыстория, как прямое предбытие его собственной, личной судьбы... Почти в каждом стихотворении Юрий Кузнецов стремится так или иначе “преодолеть” время, чтобы древность – даже, как говорится, глубокая древность – и живая современность, чреватая будущим, грядущим, сомкнулись и сопряглись в едином целом поэтического мира”».

При этом обращает на себя внимание, что, размышляя о поэтическом мире Юрия Кузнецова (именно так называется статья) и вписывая его творчество в контекст русской классики, Кожинов подробно остановился на анализе лишь одного стихотворения “Посох”, причём дал фактически описание этого стихотворения в ёмких и общих понятиях. У меня не единожды создавалось впечатление, что Кожинов, всегда в самых восторженных тонах отзывавшийся о Кузнецове, не давал себе воли глубинного проникновения в его поэтический мир, в его систему символов – как будто отгораживал себя от этого проникновения обширными культурологическими рассуждениями с привлечением цитат и примеров из классиков. Тому подробному и совершенному анализу, который он применил к поэзии Рубцова, размышляя о “стихии ветра” и “стихии света”, здесь, казалось, не было места.

Почему? Возможно, это тот случай, когда искреннее восхищение поэтическим талантом сопряжено с тем пределом познания природы этого дара, приближаясь к которому, ощущаешь невозможность его переступить.

В этой связи не могу не вспомнить реакцию Кожинова на мою первую статью о Кузнецове, написанную тогда же, когда кожиновские размышления появились в “Литературной учёбе” и где я со всей своей тогдашней молодой самонадеянностью этот предел ничтоже сумняшеся переступал. Хорошо известно – что-то совершить можно лишь не зная, что этого совершить невозможно. А Кожинов, видимо, сознавая всю невозможность, по его мнению, подобной попытки, даже не стал подробно анализировать моё сочинение, называвшееся “Между миром и Богом”, – он просто заявил, что я ничего не понял в Кузнецове. Думая об этом сейчас, прихожу к неизбежному выводу о несовпадении наших с ним “пониманий”, скорее, даже о разных плоскостях этого “понимания”. Кожинов обрисовывал контур поэтического мира Кузнецова, я же пытался проникнуть внутрь – и сама эта попытка была отринута, что называется, с порога. Возможно, не исключая такого варианта, из опасения за меня.

Дерзкую, без преувеличения, попытку анализа поэм “Дом”, “Четыреста” и “Золотая гора” предпринял Юрий Селезнёв в статье “Но путь далёк...”, на-

писанной в 1976 году. “Такие народно-поэтические образы, как путь, колесо – образ судьбы, стопа, перепутье, три дороги, пыль – образ тленности, облако, пронизывают всё творчество поэта, приобретают в нём характер устойчивости, свойственной всякому эпическому сознанию... Народно-эпическая, в том числе и фантастическая, образность у Кузнецова является, в частности, и формой проявления оптимизма его художественного сознания. “Даль, рас-сечённая трикрат”... как образ трагедийности мира и человеческого сознания в поэзии Кузнецова преодолевается единством эпического взгляда не столько в прямых авторских высказываниях... сколько в самой образно-стилевой направленности всей его “мифо-поэмы”. Удивительно, что при таком точном взгляде Селезнёв отказал в “эпическом сознании” стихотворению “Атомная сказка”, когда написал об “узкоспецифическом приспособлении” Кузнецовым “вечных образов” (и не случайно возник в кузнецовском стихотворении “Между двух поездов” “сизый селезень противоречий”). Впрочем, Кожин в статье 1974 года отнес и “Атомную сказку”, и “Возвращение” к стихам, в меньшей степени, чем другие стихи книги “Во мне и рядом даль”, отличающимся от “тихой лирики”, что попросту несправедливо, и в данном случае приходится говорить о том, что здесь полемика с другими критиками доминировала над анализом.

В своих неустанных трудах за русское дело Кожин, как известно, стремился окружить себя единомышленниками и соратниками. А для Кузнецова Кожин был необходимым собеседником. Люди, общавшиеся с Кузнецовым, знают, как он умел молчать и слушать, – и его молчание значило иной раз много больше любых слов. Они своеобразно дополняли друг друга – и образ “любомудра Кожина” в кузнецовских стихах возникает, в первую очередь, в ореоле интеллектуального пиршества, знаменитого кожиновского пирения в философских и историософских высаях.

*На повороте долгого пути,
У края поражения иль победы,
Меня ещё успели вознести
Орлиные круги твоей беседы.*

*Открылась широта и рубежи,
Уступы переливчатой природы,
Парение насмешки и души
В тумане мировой полукультуры.*

Обо всём этом Кузнецов в стихотворении, написанном в 1975 году, говорит в прошедшем времени, даже с лёгким укором, смешанным с восхищением, когда упоминает и кожиновский “ноздрёвский жест”, и кожиновский стиль жизненного поведения – “Ты промотал полжизни, не скучая”. А само стихотворение называется “Прощание с Вадимом Кожинным” (в первом варианте – просто “Прощание”), но это “прощание” затянулось на четверть века.

Кожину было посвящено при первой публикации и стихотворение “Повернувшись на Запад спиной...”, как бы предвосхищавшее появление знаменитой кожиновской статьи “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...” Впрочем, о “предвосхищении” здесь можно говорить весьма условно – я абсолютно убеждён в том, что в процессе работы над статьёй Кожин не единожды излагал Кузнецову её основополагающие мысли. В частности, ту, что была сформулирована им в печатном тексте:

“В XV–XVII веках Россия была гораздо больше связана с Азией, чем с Европой; с конца XIX века Достоевский, как бы подводя итоги интенсивнейшего двухвекового “европеизма”, провозгласил необходимость установить своего рода равновесие и “открыть окно” в Азию, оговаривая при этом, что вовсе не следует отворачиваться и “от окна в Европу”... Здесь невозможно хотя бы назвать все произведения русской литературы конца XIX и XX века, связанные с темой Азии... В этой сфере русской литературы едва ли не наиболее очевидно выявляется её коренное расхождение с гуманизмом западноевропейского типа. Это вообще громадная и многогранная проблема. Можно утверждать, например, что всё творчество Достоевского заострено против гуманизма в западноевропейском смысле, поскольку тот основан на “объектном” отношении к другому человеку... В западной литературе достаточно

много произведений, в которых с позиций последовательного гуманизма изображены люди Азии и Америки. Но это именно такое сострадание, в котором не воплощён дух подлинного равенства и братства”.

И далее, “обращаясь к самой проблеме Азии”, Кожин, уходя в историю Куликовской битвы, поминая труды Льва Гумилёва (с достаточно критическим к ним отношением), книгу Юрия Лошица “Дмитрий Донской”, где, по его словам, “автор показывает, что сражение 8 сентября 1380 года было... всемирно-исторической битвой, по сути дела, уже тогда многонационального Русского государства с агрессивной космополитической армадой, которая не имела права выступать от имени ни одного из народов – соседей Руси”, снова цитирует Достоевского: “От Окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум... Нам нельзя оставлять Европу... Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша... А между тем Азия – да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем – опять восклицаю я!..”

Кузнецов же в своём стихотворении как бы соединяет голоса Достоевского и Кожина в единый звуковой поток, в адресате его воссоединяются образы цитирующего и цитируемого, классика и современника – и мысль этого двуединого персонажа направлена на Восток.

*Повернувшись на Запад спиной,
К заходящему солнцу славянства,
Ты стоял на стене крепостной,
И гигантская тень пред тобой
Убегала в иные пространства.*

*Обнимая незримую высь,
Через камни и щели Востока
Пролегла твоя русская мысль.
Не жалей, что она одинока!*

Если “солнце славянства” на Западе зашло и России уготован другой путь, то даже одинокая мысль соратника, которую ныне некому подхватить, прокладывает новый путь и неизбежно приводит к тому, “что завяжутся русским узлом эти кручи и бездны Востока”. Не состоявшееся пророчество? А если состоявшееся?

Плодом их бесед стало и написанное тогда же стихотворение “Для того, кто по-прежнему молод...” с прямым обращением к монограммам Версилова в “Подростке” и Ивана в “Братьях Карамазовых” о том, что европейские “священные камни кроме нас не оплачет никто”.

* * *

Откликом на статью Кожина, посвященную “Слову о Законе и Благодати” митрополита Илариона, воплощённому в ней мотиву противостояния Руси и Хазарского каганата и истерике либеральной прессы, поднятой вокруг, стало стихотворение Кузнецова “Сей день высок...”

*Сей день высок по духу и печали.
Меж тем как мы сидим накоротке,
Хазары рубят дверь твою мечами
Так, что звенит стакан в моей руке.*

*Видать, копнул ты глубоко, историк,
Что вызвал на себя весь каганат.
Ты отвечаешь: – Этот шум не стоит
Внимания. Враги всегда шумят.*

Стихотворение написано почти что в благодушной, во всяком случае, спокойной интонации. Но уже следующее проникнуто чувством тревоги, смешанной с тем чувством, что воплотил Пушкин строкой “Есть упоение в бою...”

*Друг от друга всё реже стоим
В перебитой цепи воскрешений.
Между нами фантомы и дым...
Мы давно превратились в мишени.*

*Что нам смерть! На “кабы” и “авось”
Столько раз воскресало славянство.
Наше знамя пробито насквозь,
И ревёт в его дырах пространство.*

*Застит низкого солнца клочок
Тёмной воли картавая стая.
Но косится в бою твой зрачок,
Голубиную книгу читая.*

Противостояние русского и антирусского начал здесь обнажено на той грани, за которой следует либо грудь в крестах, либо голова в кустах, и надежда на “кабы” и “авось” опирается на наследие, которое осваивал Кожин, работая над “Историей Руси и русского слова”, и сам Кузнецов, для которого афанасьевские “Поэтические воззрения славян на природу” были путеводной звездой на протяжении многих лет.

Нарастающий катаклизм и обрушение фундаментальных государственных основ знаменовали для Кузнецова прорыв на поверхность тёмных сил хаоса, движение которых он прозревал во все периоды своего творческого бытия, и закат евразийской державы переживался им и как закат жизни его друга и собеседника.

*Какие годы полегли!
Им не подняться... И порою
Печаль — ровесница земли —
В Москве беседует с тобою.
.....
Ещё по-русски говорят,
И там Георгий скачет с пикой,
Где твой сливается закат
С закатом Родины великой.*

Последнее стихотворение, посвященное Кожину, исполнено настоящего отчаяния при виде крушения всех основных констант русского бытия. Борьба с силами зла между миром и Богом продолжается, но силы в этой борьбе уже иссякают.

*Вон идут, покачиваясь, двое
И поют навзрыд во мраке дня:
— Цареград уйдёт на дно морское,
А Москва погибнет от огня.*

*Это значит, надо торопиться,
Из людей повыбит сущий дух.
Кроме праха, ничего не снится...
Как ещё ты держишься, мой друг?*

Они оба держались ещё более десятилетия, и это десятилетие стало звёздным часом каждого из них. Историю Отечества уже невозможно представить себе без двухтомника Кожина “Россия. Век XX”, а русскую поэзию без кузнецовской поэмы “Путь Христа”, о которой Кожин сказал ясно и недвусмысленно, не углубляясь опять же в её суть:

“За последние три четверти века русская литература (кроме эмигрантской и “подпольной”) в сущности не обращалась к религиозным темам... И есть все основания — несмотря на любые возможные “несогласия” — радоваться появлению этой поэмы. Верю, что абсолютное большинство приобщающихся к Православию людей воспримут её как достойное свершение крупнейшего нашего поэта в канун его славного юбилея”.

До кузнецовского юбилея Кожинов не дожил. А через два года ушёл и Юрий Кузнецов.

Чем дальше, тем чаще перед моими глазами возникает картина из далёкого прошлого. 13 января 1976 года. Старый Новый год в Переделкине, за столом на веранде – Вадим Кожинов, Юрий Селезнёв и Юрий Кузнецов. Яркие, крупные, совершенно разные, во многом не совпадающие, сплочённые, как выразился Василий Белов, “вражеским кольцом”. Искрящийся мыслью и парадоксальными суждениями Кожинов, светлоглазый, благоговейно внимающий и бросающий короткие фразы Селезнёв и молчаливый задумчивый Кузнецов, которого я видел тогда впервые и которого Кожинов просил читать стихи. После долгой паузы Кузнецов читал, читал словно бы внутрь себя.

*То сова, то душа зарыдает,
Червь сквозь сердце моё проползёт.*

А закончить свои заметки я хочу заключительной строкой кузнецовской “Здравицы”.

*Смерть, как жена, к другому не уйдёт.
Но смерти нет. А водка не берёт.
Душа верна неведомым пределам,
В кольце врагов займемся русским делом.
Нас только двое. Остальные – дым.
Твоё здоровье, Кожинов Вадим.*